

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭССЕИСТИКА

Ю.И. АРХИПОВ (МОСКВА)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

## ГЕРМАНИЯ, ОСЕННЯЯ СКАЗКА: РАЗМЫШЛЕНИЯ И БЕСЕДЫ В ВЕЙМАРЕ

Первым фильмом, который мне, тогда шестилетнему, выпало посмотреть (существует ли еще тот кинотеатр в Таганроге?), был «Александр Невский». Должно быть, поэтому родина для меня начинается с Переславы Залесского, с Плещеева озера, из которого святой князь со дружинники тянул свои рыбацкие сети.

А Германия начинается, конечно же, с Веймара. Тоже невелик городок, не более нашенского Переславы, и тоже – превеликое чудо. Вполне рукотворное, впрочем, – сотворенное умной властью.

У основания удачи стояла та, чье имя теперь носит грандиозная Веймарская библиотека, – герцогиня Саксен-веймарская Анна Амалия, ровесница нашей Екатерины Великой. Местная правительница тоже рано, двадцати с небольшим лет, овдовела. И у нее тоже был единственный сын, Карл Август, отнюдь не разделивший, однако, судьбу российского Павла. Анна Амалия сознательно и последовательно готовила его к восшествию на трон по достижении совершеннолетия. Любительница муз, она пригласила в воспитатели к сыну самого знаменитого в ту пору немецкого писателя Виланда (нашему Жуковскому, не раз бывавшему в Веймаре, было, таким образом, на чей опыт опереться). Плоды просвещения сказались: едва ли не первым деянием восемнадцатилетнего Карла Августа стало приглашение в Веймар тоже молодого, но уже известного всей Германии Гёте, удостоенного здесь не только почестей, но и прибыльных должностей. Патрицианский дом Гёте, расположенный неподалеку от дворца, стал в Веймаре чем-то вроде второй правящей резиденции. А всего-то в километре от него, в роскошном парке над Ильмом, помещалась и его «дача» – достославный «садовый дом» поэта, ставший одним из символов города. По совету Гёте вскоре был призван Гердер, возглавивший городской собор и местную евангелическую консисторию, а затем и Шиллер, усердно трудившийся для необыкновенно расцветшего (ныне – Национального) театра, директором которого был все тот же Гёте.

Так крошечный Веймар превратился в культурную столицу Германии, в «Немецкие Афины», место паломничества пишущей братии всей Европы (в том числе и русской: Карамзин, Батюшков, Жуковский, Одоевский, Киреевский, Шевырев, Гоголь, Тютчев, Тургенев здесь – многие не раз – побывали).

Немалую лепту в процветание Веймара внесла невестка Карла Августа, одна из дочерей русского императора Павла Мария. Мало того, что она была великодушным другом и покровительницей Гёте и Шиллера, чей – совместный с герцогами – склеп ныне покоится под сенью православной церкви, возведенной по завещанию после ее кончины. На долю Марии Павловны пришелся и «серебряный век» Веймара, установившийся, когда здесь поселился (воцарился!) приглашенный ею Ференц Лист.

Внук Марии Павловны Эрнст Вильгельм позаботился, в свою очередь, об эстафете: с его именем связан местный «бронзовый век» – это он пригласил в Веймар известнейшего искусствоведа и музейщика начала XX века графа Кесслера, а вместе с ним и выдающегося архитектора Ван де Вельде. Родоначальник «модерна» украсил город многочисленными виллами и доходными домами в этом причудливом стиле, еще не стеснявшемся быть красивым. На плечах Ван де Вельде взошли здесь создатели Баухауса – конструктивисты двадцатых годов во главе с Гропиусом, Шлеммером, Клее, Файнингером и Кандинским.

Следует добавить еще, что здесь в разные времена жилали сказочник Музеус, драматург Коцебу, поэт Фаллерслебен (автор текста «Германия превыше всего», ставшего гимном страны), исторический романист Вильденбрух, философ, властитель дум целой эпохи Ницше, основатель антропософии (роковой соблазнитель наших Андрея Белого и Волошина), Штейнер, драматург-сатирик Кайзер... Надо ли удивляться тому, что в старинной части городка чуть ли не каждый второй дом если не музей, то снабжен мемориальной доской. И памятников здесь не меньше, чем в ином мегаполисе. А уж местный литературный архив (носящий, разумеется, имена Гёте и Шиллера) – настоящая Мекка всех исследователей классической немецкой литературы.

Архив, отметивший в этом году свое столетие, никогда не пустует. Кто-то, помастителей, добирается сюда на свой кошт, а молодым исследователям или представителям стран победнее, местный Фонд Веймарской классики выдает стипендии.

Впервые такая стипендия досталась мне еще двадцать лет назад, незадолго до кончины ГДР. В середине девяностых я побывал здесь уже при новой власти. Миновало еще десять лет (многочисленные краткосрочные конференции не в счет, хотя они тоже были по-своему памятны), и я снова под крышей виллы Ницше. В этом стройном красавце-особняке, также построенном Ван де Вельде, великий мыслитель-

бунтарь провел свои последние, увы, по-прежнему беспокойные годы. Внизу теперь здесь музей, а на верхних двух этажах – уютно непрестанно сменяющих друг друга стипендиатов.

Вилла Ницше поставлена на холме, на самой высокой точке над городом. Из доставшейся мне на сей раз угловой комнаты в пентхаусе отлично видны не только улочки старого Веймара, но и окраинные «Черемушки», но и поля и леса за чертой города. И одинокая жутковатая башня Бухенвальда тоже видна – как вздетый упреждающий палец, выросший на далеком холме. Эту же башню видишь сидя в просторном зале Архива, когда отрываешь глаза от нетленных рукописей. Эдакое *memento mori*. Чтобы отрешенные от жизни гуманитарии не очень-то забывались.

Дарованные моему окну виды Веймара так и хочется запечатлеть. Почти каждая улочка здесь – как парад архитектурных эпох. Фрейдистским символом высится в самом центре старинная башня герцогского дворца – образуя с башней Бухенвальда многозначительную переключку. Город утопает в садах и живописнейших парках. Над их разбивкой потрудился еще и Гёте – недаром он с таким знанием дела описывает разнообразные земляные работы в романе «Избирательное сродство» («лучшем романе мировой литературы» – по уверениям Вячеслава Иванова.) Утопающая в лугах и парках долина Ильма, окаймляющая старинное ядро города, плавно переходит в обширнейшие парки при двух загородных дворцах – в Тифурте и Бельведере. Впрочем, москвичу трудно признать их загородными: от главного, городского дворца до них всего три–четыре километра по прямому, как лучи, дорогам. Излюбленный маршрут для прогулки приезжих, которую можно совершить – за немалую, впрочем, мзду – и в каком-нибудь историческом экипаже с расписным ухарем типа Фигаро на козлах.

В октябре парки Веймара утопали в золоте и багрянце. Месяц мне достался чудесный: вся Германия нежилась на солнце, такого теплого октября не было за все время измерений, ведущихся с незапамятных пор. Сказочная погода тянула из библиотек и архивов в рощи и кущи. И на живописнейшее кладбище, где не только литургия в православной церкви по воскресеньям, но и немало вокруг нее памятных могил – и немецких, и русских. Небольшие, огороженные и тщательно ухоженные кладбища советских солдат сорок пятого года здесь и в парке над Ильмом и в Бельведере. Двадцать лет назад на это были свои дежурные объяснения: в Веймаре тогда стояли наши военные части. Но теперь-то что? Простая, видимо, человечность. Не какая-нибудь высокопарная «всемирная отзывчивость», а скромная обязанность цивилизованного человека. Горько было вспоминать, с каким озлоблением многие встретили у нас попытки устроить такие же мемориалы немецких солдат. Так же мало повинных в развязанной войне, как любые солдаты во всем мире. Впрочем, и здесь нашлись улюлюкающие апостолы морализма, сбежавшиеся распинать Гюнтера Грасса за то, очевидно, что не сверг Гитлера в свои семнадцать лет. Филистер всегда и всюду прав в своем праведном гневе.

И всегда-то он склонен к тому, чтобы жить дежурными слоганами, клише. Сколько их тут сменилось за эти годы и в отношении России. То «хайль Горбачёв и перестройка», то «русская мафия всех страшней». Теперь вот новая напасть – *Beutekunst*. Уворованное, стало быть, искусство. То есть вывезенное в том же сорок пятом году нашими войсками из Германии в виде контрибуции и хоть какой-то компенсации за – совершенно несоразмерные – наши потери. Кто-то рьяный, прихватывая в союзники всякую нашу швыдкую нечисть, раздувает соответствующую кампанию. Какую газету ни раскроешь – обязательно наткнешься на тему. Повсеместно в музеях «выставки» пустых мест, на которых когда-то висели «уворованные» картины. Одну такую выставку «вопиющих пустот» я при случае посетил – в деревушке Хольцдорф, что в семи километрах от Веймара. Энтузиазма особого среди устроителей не заметил: так, покорный наклон головы перед очередной магической галочкой, которую необходимо проставить. Автоматизм рефлекса отметил и в бывшей герцоговой кирхе у почтенного кустодуса, дававшего в одно из воскресений пояснения к находящейся здесь «алтарной картине» (не иконе!) Кранаха. Почтенный доктор наук тоже не преминул походя, под понимающие усмешки слушателей, заметить: «Слава Богу, картину не уворовали советские».

А начнешь тему обсуждать с кем-нибудь из компетентных людей, непременно получишь в ответ: «Вам-то легко нам все вернуть – ведь у вас все наше пребывает в музеях. А у нас все ваше разошлось по частным рукам. Как же мы все это вернем – если частная собственность неприкосновенна?». То ли детский сад, то ли клиника. Вот что бывает, когда в тогу политиков у нас обряжаются не то жулики, не то недоумки. Даже разумных вроде бы и добродетельных немцев повергаем тогда в грех слепого ребяческого себялюбия.

Кранах, кстати, тоже местный житель, хотя и шестнадцатого еще века. (А в семнадцатом тут пожил Бах. А в соседнем Эрфурте Лютер метал чернильницу в черта. Не хватает только Дюрера для полной германской Валгаллы.) Кранаха тут немало – и в местном музее, и в местном театрике, устроенном под

крышей его дома, и вот – в церкви. Тут кранахово изображение распятого Христа занимает почти всю алтарную стену. Слева от Спасителя – веймарская герцогская чета, покровители художника, справа – его духовные наставники во главе с Лютером. Кровь из межреберья Христа по внятной биссектрисе ударяет прямо в темечко великому реформатору церкви. А чего, в самом деле, мудровать с аллегориями крестьянскому сыну Кранаху? Видимо, потому-то и возвысился так Гёте над своей нацией, что сумел преодолеть исконное немецкое прямодушие. Как сумел Пушкин преодолеть забубенную нашу бесформенность. Мудрый Иван Ильин в таком именно духе писал о национальных сверхгениях: «Пребывая в своеобразии своего народа, они осуществляют национальный акт классической глубины и зрелости и тем показывают своему народу его подлинную силу, его призвание и грядущие пути». (Насчет «грядущих путей», может, и романтизм, но ведь и без него, как без соли, исторического супа не сварить.)

Теперешний городок, конечно, во многом провинциальный, хотя и заметно приосанился за последние годы. Первый признак провинциализма – вуйаризм, как и у нас в деревне. Кто бы ни прошел мимо – долго смотрят вслед, пока не скроешься за поворотом. Даже если человек занят в палисаднике своей клумбой или, того более, милованьем с подружкой на садовой скамейке. То-то уже Тютчев находил город заспанным, словно бы досматривающим свой золотой сон. Но оживление вносят студенты – музыкального и архитектурного вузов. Странно, что из Лейпцига не переводят сюда и Литературный институт. Хотя самый блестящий профессор там – бывший местный научный работник Бернт Ляйстнер.

Навстречу попадают все больше буки. Но по давнему опыту знаю: стоит немца остановить вопросом да еще зацепить шуткой – и он не просто будет предельно любезен, но и, слово за слово, охотно расскажет тебе всю свою жизнь. Двадцать лет назад, помню, все жаловались на социализм: нищета, мол, и тюрьма. Теперь все жалуются на капитализм: слишком жестко расфасовывает всех по «шихтам», то бишь имущественным слоям. И все, чуть не хором: раньше-то лучше было. Уж так устроен человек. И у нас, переживших крутой перелом, такое же настроение, как начнем вспоминать былое. «Интересное кино: денег не было, свободы не было, счастье было» – прочел я у Сергея Каледина в «Огоньке», купленном в домодедовском аэропорту в дорогу. Немцы это утраченное счастье называют *Geselligkeit* – «общительностью», «приятным совместным препровождением времени». Теперь, мол, разбрелись по углам и снова «каждый умирает в одиночку».

Еще помеченная мной цитата – из книжки эссе Бориса Хазанова, изданной в Мюнхене. «Великое невезение, постигшее нас, заключалось не только в том, что мы родились в России...» – дальше можно было не продолжать чтение, уже этим обломком я был повергнут в тяжкое недоумение. И дело не только в том, что я-то всю жизнь считал, что если мне в чем-то и заведомо повезло, то, прежде всего, в том, что я родился в России. Но всегда крайне странными казались мне люди, так умеющие пришить себя к идеологии, в такую зависимость поставить себя от власти. До которой какое нам, в сущности, дело? Ну, как есть в лесу комары, так есть и всякие там неизбежные «обиды времени», но что же мешает нам оветаться «прохладой вечности», говоря цветаевскими словами. Если что-то мешает, надо жаловаться на себя, а при чем тут власть, коли она пребывает на другом полюсе жизни? Ну, не суйтесь туда, где нечего делать развитому человеку. Развивайте себя – задача благодарная и огромная, на всю жизнь хватит. Какой власти было бы не угодно, чтобы я как можно лучше переводил того же Гёте и как можно увлекательнее о нем писал?

Вот и в Германии у меня немало знакомых, не очень-то и заметивших перемену режима. Как трудились над своим Заданием, так и трудятся. Как были востребованы своим временем, так востребованы и теперь – потому что взоры их устремлены больше в вечность. А ей, матушке, весьма безразлично земное политическое копошение. Таковы, к примеру, те, с кем я познакомился еще двадцать лет назад – литературовед Йохен Гольц и поэт Вульф Кирстен. И тогда они были на хорошем счету и теперь в директорах и лауреатах. И тогда и теперь не имея никакого касательства к политической конъюнктуре.

На вокзале в Веймаре я первым делом купил «Шпигель» – нельзя быстрее подключить себя к тому, чем живет страна, как посредством этого еженедельника. Это как если бы «Литературная Газета» выходила не на шестнадцать, а на сорока восьми полосах. Правда, мой приемник на московской кухне всегда настроен на «Немецкую волну», но этого мало. И трапезы у меня не лукулловы, да и все больше времени там захватывает агрессивная русская редакция, которая мне вовсе не интересна. (Вот, холодная война вроде бы кончилась, а они все расширяются, к чему бы это?)

Итак, в первый же вечер листаю «Шпигель».

Опрос населения: надо ли всюду открывать мечети, раз такой наплыв в стране мусульман. «Да» и «нет» разошлись почти поровну.

Общественность клеймит интендантшу берлинской оперы за трусость: какой-то лихой горе-режиссер уснастил постановку Моцарта сценами кощунственного издевательства над Христом, Магометом, Буддой; христиане и буддисты стерпели, а мусульмане пригрозили погромом – и она постановку отменила. Ату ее – потому как свобода искусства превыше всего! Постоим, де, «за наши европейские ценности!» (Публицисты-либералы даже не понимают, что поют славословицу закату Европы.)

Деятели культуры (оперные дивы – в первых рядах) выступают за чистоту немецкого языка, оскверняемого в порыве глобализма примитивными жаргонными американизмами.

Реформаторы немецкого правописания из Мангейма представили новые правила – эксперты по-дозревают их в сговоре с издателями словарей: слишком похоже на пресловутый «откат».

Опубликован новый («коллективный») перевод Библии – довольно нелепый, судя по цитатам, зато силившийся быть политкорректным: слово *Негг*, имеющее два значения («Господь» и «господин»), заменено во многих случаях на «Божественное Существо» – дабы угодить феминисткам. Что-то подобное проделано с текстом Писания, и чтобы не обидеть геев. (Апокалипсис уж «при дверях»!)

В Веймаре (!) призвали на помощь науку, чтобы установить, какой из двух черепов, приписываемых Шиллеру, на самом деле принадлежит ему.

В списке бестселлеров второй год подряд роман Даниэля Кельмана «Обмер мироздания» – презабавное жизнеописание двух великих немецких «обмерщиков» времен Веймарского классицизма – Гаусса и Александра Гумбольдта.

Во Франкфурте состоялась раздача литературных премий. Друга моего Мартина Вальзера обнесли, отдали главную премию Катарине Хакер, сопернице Еллинек по порнухе с чернухой. (Вальзер мне по телефону: «Что поделать – таков дух времени».) Самую большую в денежном выражении премию – имени Йозефа Брайтбаха – вручили моему знакомому веймаранину, поэту Вульффу Кирстену.

Главный специалист по Шиллеру в Веймаре – доктор Йохен Гольц. В гэдээровское время он, будучи научным сотрудником Института немецкой литературы, возглавлял здесь и профсоюзы, а ныне – президент Общества Гёте и директор Архива Гёте и Шиллера. По старой памяти он пригласил меня на обед. Из вежливости спросив: «Как предпочитаешь поесть – по-итальянски, по-китайски, по-тюрингски?». Местный патриотизм в выборе блюд, мной проявленный, явно пришелся ему по душе. В старинном трактирчике «Острый угол» на наше счастье отыскался свободный столик.

Мне, конечно, интересно узнать, как он, работающий в системе пестования Веймарской классики вот уже сорок лет, нашел сравнительно недавние, последнего десятилетия, перемены?

И вот монолог-ответ доктора Гольца:

При всех режимах Веймарская классика – если не алиби, то вывеска. Тогда были свои трудности, теперь – свои. Похоже, что культуре вообще назначено проползать между Сциллой идеологии и Харибдой рынка. Конечно, тоталитарный аппарат всегда отвалит вам денюжат поболее любого мецената (сразу вспомнилось, как иные наши поэты обсели, как мухи, одного сладкого среднеазиатского бая – Ю. А.), но только за неукоснительно точное выполнение социального заказа, который нередко бывает понят убого. И тогда примитив душит морально. Теперь вот не надо ломать голову над каждым словом, боясь в сетях самоцензуры. Зато нужно непрестанно крутиться в поисках спонсоров. А они нам ой как необходимы. На европейских аукционах то и дело всплывают рукописи даже Гёте, не говоря уже о гейдельбергских или йенских романтиках. Нам купить их, как правило, не на что. Не можем пока даже заменить старинные аппараты микрофильмирования. Пытался я тут зацепить великого менеджера Лотара Шпета, главу цейссовского концерна – дудки. Слава Богу, есть еще гамбургский табачный король Реемтсма. Благодаря ему мы привели в надлежащий вид поместье Виланда Османштедт, что в восьми километрах от Веймара и входит в золотое кольцо его классических объектов. Он же добивается сейчас перевода в наш музей архива Виланда из швабского городка Биберах. Но и Реемтсма не всемогущ. К тому же у него свои пристрастия и предпочтения. Вполне достойные, впрочем: Виланд, Барлах, Арно Шмидт. Но у нас ведь главная забота и боль – Гёте. И у меня нет сейчас другой мечты, как найти своего Реемтсму для Олимпийца. Иной раз удается залучить в союзники того или иного влиятельного политика – особенно перед очередными выборами. Но они, по большей части, предпочитают потратиться на что-либо более броское. Так, благодаря им, мы обзавелись недавно дорогущим полотном Файнингера – для нашего музея Баухауса. И это красиво, конечно, но ведь есть у Фонда Веймарской классики надобности понасушнее. Ради них становимся почти следопытами. А выйдя на след, соблазняем потом стариков и старушек – наследников. Вот я только что вернулся из Соединенных Штатов: там отыскался последний потомок фон Вольцогена – да, того самого веймарского сановника, что приезжал в Петербург к императору Павлу сватать его дочь Марию, ставшую у нас в итоге великой герцогиней саксен-веймарской Марией Павловной. Та его дипломатическая удача навсегда внесла имя Вольцогена в реестр самых знатных горожан Веймара. В его американском архиве немало интереснейших для нас документов эпохи. Но купить их мы пока не в

силах, добиться завещания в нашу пользу тоже не удастся. Будем работать. А текучка – это обмен микрофильмами с другими музеями и архивами; и тут мы, разумеется, в выигрышном положении – таких богатств, как наши, нет больше нигде. Из нового направления работы – заметное расширение спектра наших интересов в сторону современности. Стали даже покупать рукописи у именитых современных писателей – в таком обширном хозяйстве, как наше, все пригодится.

Настрадавшемуся от бездомности русскому литератору всегда, я думаю, любо побывать в логове наших немецких коллег. О жилищах Ленца и Энценсбергера, Вальзера и Веллерсхофа я мог бы, кажется, написать поэму. Вот и Вульф Кирстен, первый нынешний поэт не только Веймара, но и, пожалуй, всей Германии, живет красиво: на верхнем этаже изумительного шедевра все того же Ван де Вельде или кого-то из его учеников, в просторной квартире, где в сосредоточенном рабочем порядке пребывают десятки тысяч книг, а прелестные акварели Курта Квернера выселены на уютную и тоже просторную кухню.

Семидесятидвухлетний Вульф Кирстен – уроженец деревушки близ Дрездена. В Веймаре он поселился сорок лет назад, получив место редактора в местном отделении издательства «Ауфбау». Он пользовался «с трудом разрешенным» признанием и в ГДР, где получил, в частности, государственную премию за книгу стихов «Земля близ Мейсена» (1986). Название многозначительное. Кирстен – поэт именно что земляной, почвенный, подхватывающий традиции «магической органичности» Иоганнеса Бобровского, культового классика поэзии ГДР. Его рано заметили и в ФРГ – о нем, к примеру, восторженно отзывался Мартин Вальзер в своей на шумевшей программной речи «Говорить о Германии» (1988). Там он сумел подчеркнуть главное достоинство Кирстена – творческую память и отзывчивость самого языка, истинного и единственного домена поэта. Подобно нашему Личутину, Кирстен стремится сохранить для современности великое множество старинных, областных, диалектных слов и речений, обретающих под его пером новую свежесть и сочность. Гётевское «Остановись мгновение, ты прекрасно!» – это девиз и Кирстена. А самое прекрасное для него – все обыденное, глухотное, затерявшееся вдали от столичного глянца. Сами названия никому не ведомых хуторов или обветшалой утвари обретают в стихах Кирстена право на бессмертие – как и множество полузабытых или совсем забытых самобытных писателей, которых он воскрешает в своей эссеистике. Вульф Кирстен может быть таким судьей, ибо он – «редкое доказательство, что еще возможен немецкий язык, за который не стыдно» (Мартин Вальзер).

Мы устроились для беседы за чайным столиком в кабинете поэта.

*Юрий Архипов:* Что это за премия – Йозефа Брайтбаха, которую вы получили? Почему вдруг она оказалась такой солидной? Ведь насколько я помню, Йозеф Брайтбах никогда не принадлежал к писателям выдающимся, даже особо заметным?

*Вульф Кирстен:* Что правда, то правда. Средний поэт, средний прозаик и эссеист. Был замечен разве что в эстетствующем галломанстве. Зато он был необыкновенно тщеславен. Всю жизнь пытался если не получить, то хотя бы выдвинуть себя на Нобелевскую премию. А когда ничего из этого не вышло, то решил перещеголять всех в своем завещании: основал премию со своих (неизвестно откуда взявшихся) доходов с самым большим денежным содержанием. На этот раз премия досталась мне, что, конечно, весьма приятно – ибо поэту на гонорары не прожить, – хотя и удивительно.

*Ю.А.:* Почему удивительно?

*В.К.:* Потому что я как был белой вороной в ГДР, так ею и остался в новой, старой стране. Тогда правила одна литературная мафия – партийная, теперь другая – снобистская, экспериментаторская, которой я тоже не ко двору. Она, эта камарилья, похожа у нас на какое-то тайное общество наподобие франкмасонского, со своими списками протезируемых и выдвигаемых. Возьмите хоть самую авторитетную в Германии Бюхнеровскую премию. В этом году камарилья (в которой, поговаривают, решающее слово имеют такие люди, как Петер Хандке и Михаэль Крюгер) присудила ее Оскару Пастиору, выходцу из Румынии, забавляющемуся разламыванием слов и смыслов, чтобы высечь из этого занятия те или иные случайные эффекты. Он, кстати, очень похож на вашего Айги – даже внешне. К поэзии, на мой взгляд, это полумеханическое камлание имеет самое отдаленное отношение.

*Ю.А.:* А в идеологическом отношении кто сейчас на коне?

*В.К.:* Те «демократы», что ратуют за глобализацию. К ним я опять-таки не принадлежу. Нас, почвенников, пытающихся этому безумию как-то противостоять, жалкая фракция в Дармштадской академии языка и литературы. Во всех почти комиссиях, ведающих премиями, – они. Отделы литературы ведущих газет и журналов – в их руках. Даже рецензию на что-либо не угодное им не протащишь. Они вошли во вкус денег и либо не замечают, что *только* рынок губит литературу, либо ничего не имеют против такой погибели. Раскручивая одних, они задвигают тем самым других на задворки. Так что вполне возможно, что лет через сто или двести будет открыт какой-нибудь новый Гёльдерлин, наш современник. Ведь у читателя нет ни времени, ни возможностей самому производить отбор. А эти деляги выхватили кого-нибудь из потока почти наудачу – и скорее в рекламный оборот. Не попавший в обойму автор, будь он

хоть семи пядей во лбу, теперь не имеет шансов. Ну, наскребет где-нибудь экземпляров триста, в каком-нибудь мелком издательстве – из числа тех, что «не подлежат рецензированию в крупной газете» (есть и такая формула). И почувствовав, что это предел, вскоре впадет в отчаяние.

Ю.А.: А разве в ГДР было лучше?

В.К.: Даже тогда было проще. Хотя я бесконечно далек от того, чтобы ратовать за возвращение той системы, но кое в чем, как ни странно, в ней было больше гибкости. Например, тогда мог состояться такой великий поэт, как Иоганнес Бобровский, который был бесконечно далек от официальной идеологии социалистического реализма. Тогда в любом большом издательстве на поэзию отводилась определенная квота, и редакторам-асам то и дело удавалось протащить того или иного «уклониста» от правильной линии. Печатали ведь и Петера Хухеля, и Гюнтера Кунерта, и Фолькера Брауна, и Петера Хакса. Удалось бы им теперь сделать такую карьеру? А ведь все это – истинные поэты, далекие от партийного спроса и заказа. А теперь всем правит господин Случай. Повторяю: меньше всего на свете мне хотелось бы вернуть те времена, но и одобрять новое зло у меня нет никакого желания.

Ю.А.: Да, и у нас в литературных кругах – через двадцать почти лет с начала «перестройки» – тоже все больше утверждается мнение, что ни одна общественная система не сменяет другую, так сказать, в однозначном порядке. Что-то меняется к лучшему, но – будто кто-то всевластный следит за равновесием – что-то и явно к худшему.

В.К.: Ну, разумеется – ведь мы сидим в одной лодке. Главная, на мой взгляд, вина современных политиков – и редакторов тоже, – что они исключили из своего репертуара слово-понятие «национальный». Под национальным они теперь понимают националистическое и сразу шарахаются в ужасе. А такое исключение органики парализует или корежит нормальное течение истории – и мстит за себя в выходках экстремистов. Понятно, что немцам трудна эта тема после двенадцати лет кровавого национал-социалистического шабаша, но столь же понятно, что немецкая история началась отнюдь не в 1933 году и отнюдь не в 1945 году кончилась. Или мы имеем мужество трезво обсуждать любые проблемы, или история проедется по нам, трясущимся от страусинового страха, катком глобализма или чего-нибудь в этом роде.

Ю.А.: Но вот ведь у вас за углом, рядом с католической церковью, помещается в красивом солидном здании редакция газеты «Вера и родина». Значит, дело не выглядит так безнадежно?

В.К.: Тираж у газеты ничтожный, а здание у них чудом сохранилось с прежних времен. Нет, это не показатель – и на молодежь они не влияют.

Ю.А.: А в литературе, в частности, в поэзии как дело обстоит с молодежью? Есть ли обнадеживающие имена?

В.К.: Такие имена, конечно, есть. Могу назвать, к примеру, Лутца Зайлера из Потсдама или Яна Вагнера и Рольфа Хауфса из Берлина. Чуть ли не королем современной поэзии и «новым Гофмансталем» критика величает Дурса Грюнбайна, хотя я лично отношусь к нему достаточно сдержанно. Но, повторяю, удастся ли им осуществить себя в полной мере и пробиться к читателю, угадать никому не дано. Все решает теперь его величество Случай. Или те крупье, что незаметно крутят рулетку современной литературы.

Ю.А.: Но здесь, в Веймаре, Вы вроде как в башне из слоновой кости. Каждый день так или иначе соприкасаетесь с золотым веком немецкой культуры. Не дает ли это чувство некоего духовного комфорта?

В.К.: Наслаждаться золотым веком Веймара мне мешает его железный век – Бухенвальд. Я уже много лет подолгу пропадаю там, в бывшем концлагере, веду даже раскопки. Вместе с сыном, историком, перерыл весь архив. Вот недавно издали вместе с ним антологию художественных и публицистических текстов, написанных узниками Бухенвальда. Да, да, созданных там и тогда – жизнь нигде не прекращается, как и творчество. На мой взгляд, здесь есть потрясающие сочинения. Это не литература, а вопль. Может быть, в художественном отношении они уступают ужасам Кафки, но ведь их читаешь совершенно иначе, когда знаешь, в каких условиях и перед лицом каких опасностей автор сочинял эти стихи, рассказы, очерки, дневники. Меня волнует и судьба тех узников, которые в сорок пятом году сменили заключенных нацистского режима. Об этом не любят вспоминать, но ведь концлагерь на прелестной горе Этtersберг пустовал всего несколько месяцев, а потом заполнился снова. На сей раз теми, кто был не угоден освободителям и той власти, что они установили. И ужасы повторились.

Ю.А.: Что Вами движет в этой, уже не вполне литературной работе?

В.К.: Да, в сущности, то же, что и в поэзии. Желание спасти все страдающее и живое от небытия, от забвения.